

Моё начальное поэтическое формирование прошло ещё в сталинской России (СССР). А о тех временах я могу судить с полным правом. Мне было восемь лет, когда началась Великая Отечественная война, двадцать – когда умер Иосиф Виссарионович Сталин, пятьдесят восемь – когда покончил самоубийством Советский Союз. Сейчас много пишут о том, что – де суровые ограничения и железный занавес держали пишущую братию чуть ли не в темноте невежества. Это полная ерунда. Конечно, определённые ограничения были, но не они определяли широту нашего кругозора. Во времена моей молодости из крупнейших русских поэтов для массового читателя были закрыты, пожалуй, только Николай Гумилёв, Николай Клюев и Павел Васильев. Некоторые, далеко не все, склонны относить к этой категории и Осипа Мандельштама. Кстати, по случайному стечению обстоятельств лично мне Клюев был доступен – знакомая семья владела зачитанным томом великого страдальца. Конечно, практически широкой публике (а я относился к ней – наша семья не имела связей с заграницей) оставалась неизвестной поэзия русского зарубежья. Но скажем честно – не такая уж это большая потеря, если не считать блистательного Георгия Иванова и его друга Георгия Адамовича.

В старших классах школы (которую я окончил в 1950 году) и в студенческие годы я очень много читал, и стихов – в особенности. Тут надо напомнить (не уверен, что всем молодым читате-

<sup>1</sup> **Баранов Юрий Константинович.** Выпускник Моск. электротехн. ин-та связи, занимался глушением иностранных радиопередач, враждебных СССР, затем трудился в оборонной сфере. С 1967 г. – в журналистике: газета «Труд», ТАСС, «Экономическая газета» и др. Работал обозревателем «Литературной газеты». Член Союза писателей России, автор семи сборников стихов и шести книг прозы. Живёт в Москве.

<sup>2</sup> Ю. Баранов прислал в редакцию свою книгу «А Китеж всё-таки всплывёт» (М., 2018). Мы публикуем предисловие автора к ней.



Юрий Баранов

А Китеж всё-таки  
всплывёт!



Китежский остров

Иллюстрация Ю. Баранова

лям это известно) о существовании в СССР всеохватывающей сети библиотек, в том числе школьных. И они регулярно пополнялись новыми изданиями, а издавалось много – и очень большими тиражами, зачастую огромными. В моей личной библиотеке сохранились три толстых крупноформатных тома, купленных в то золотое время – Александр Блок (1946 год, 25 000 экземпляров), И.С. Тургенев (1946 год) и И.А. Гончаров (1948 год) по 100000 экземпляров. Бумага неважнецкая, обложка, хотя и твёрдая, обтянута скромной тканью (Блок) или просто

бумагой (Тургенев и Гончаров), но – это же в разорённой войной стране! Добавлю, что и цены на книги были вполне доступными. Да, возможности читать хорошие книги были тогда очень большими. Чуть ли не каждый день в читальном зале Ленинской библиотеки или у кого-то в гостях я совершал открытия – русская поэзия невероятно богата, и советская переводческая школа была просто великолепной. Некоторые знакомства с новыми именами происходили, можно сказать, «в ошеломляющем режиме».

Хорошо помню первую встречу с Сергеем Есениным. Она случилась, насколько помнится, в девятом классе, осенью 1948 года. Мой одноклассник и друг Юрий Мамлеев (будущий знаменитый писатель) прочитал мне неведомый дотоле шедевр: «Грубым даётся радость, / Нежным даётся печаль...», и я испытал форменное потрясение. Подобное я испытал, когда в Ленинской библиотеке впервые прочитал «Пепел» Андрея Белого – великий поэт захватил меня с первых же строк:

*Довольно, не жди, не надейся,  
Рассейся, мой бедный народ,  
В пространство пади и разбейся  
За годом мучительный год...*

Понятно, переводных стихов я читал меньше, выделял А.Э. Хаусмэна, которого называли «английским Есениным», и, конечно, Франсуа Вийона. Я рано понял, что, пожалуй, вся европейская поэзия вышла из его гениальной «Баллады поэтического состязания в Блуа» (1458 год), исходная строка которого («От жажды умираю над ручьём») была предложена организатором праздника герцогом Карлом Орлеанским.

И ещё «в ошеломляющем режиме» произошла моя встреча с чилийцем Пабло Нерудой. Это было немного позже, в мои двадцать два года. Тогда я, инженер-связист, работал на подмосковном радиоцентре, занимался глушением враждебных «голосов». Однажды ночью, в метель, звонит мне из Москвы мой друг Анатолий Чиликин и говорит: «Послушай-ка стихи, которые наверняка тебе понравятся»:

*Утро, полное бурь, в разгаре лета,  
Облака, как белые платочки расставания,  
Ими размахивает путник-ветер,  
И сердце ветра колотится  
Над нашим молчаньем любви...  
Тревога лоцмана, ярость ослепшего водолаза,  
Угрюмый восторг любви –  
Всё в тебе затонуло...  
Время идти. Это час холодный и жёсткий.  
Я брошен, как причал на рассвете,  
Я брошен тобою.*

*(Это утро наполняется бурей,  
прорастающей из сердцевинки лета.*

*Ветер колышет странствующими руками  
белые облака — как платочки прощанья.*

*Неисчислимое сердце ветра  
бьётся над нашим влюблённым молчаньем.*

*И гудит в деревьях чудесный оркестр, —  
вещий колокол, полный сражений и песен.*

*Ветер срывает и уносит листву с деревьев,  
отклоняет от цели стрелы трепетных птиц.*

*Ветер свергает её наземь волнами без пены,  
веществом невесомым, наклонным огнём.*

*Терпит крушение и тонет корабль её поцелуев  
у входа в гавань — летним ветреным днём.*

(Veinte versos de amor, 1924)

С той снежной ночи 1955 года прошло много лет, но я помню наизусть этот шедевр. Как говорится в анекдоте, вы будете смеяться, но я никогда не видел его напечатанным, так что, возможно

какие-то слова или строки выпали из памяти. И – я не знаю, кто переводчик; мне почему-то кажется – Илья Эренбург.

Что касается «восточной» поэзии, то меня, конечно, сразу покори́л Омар Хайям. Я читаю его всю жизнь, иногда балуюсь шуточными подражаниями «поэту поэтов». Одно из них даже публиковал:

*Вчера я водки выпил триста грамм,  
Сегодня тоже выпью триста грамм;  
А что не пить? Вот завтра в крематорий  
Свезут, и всё. Лишь пепла триста грамм.*

Сразу же полюбил я туркменского классика Махтум-Кули, к сожалению, не особенно популярного у нас. И ещё отдельно отмечу восхищение пастернаковским переводом шедевра армянского поэта Аветика Исаакяна:

*Душа – перелётная бедная птица  
Со сломанным бурей крылом,  
А дождь без конца, и в пути ни крупницы,  
И тьма впереди и в былом...*

Большой интерес испытывали мы к японской поэзии – столь непохожей на нашу, но у которой можно было многому поучиться, прежде всего краткости. Помню, какое – не боюсь повторить – ошелмляющее впечатление произвело на меня хокку средневекового поэта Тиёни:

*За ночь вьюнок обвился  
Вкруг бадьи моего колодца...  
У соседа воды возьму!*

Всего в трёх строках целый мир – и хозяин колодца, восхищённый хрупкой красотой растения и не решающийся её порушить, и уверенность в том, что сосед, тоже добрый человек, поймёт его.

Разумеется, прежде всего и больше всего, мы читали отечественных авторов. Ни в какие «суровые», «тоталитарные» времена никто не ограничивал доступ к основам литературных знаний русского читателя поэзии – к Пушкину и Тютчеву, Некрасову и Блоку, Лермонтову и Алексею К. Толстому и др. И к Есенину, о котором нужно сказать особо. В наше время разнузданной «свободы» много раз приходилось читать о том, что Есенин якобы был «запрещён». Это либо злонамеренная ложь, либо ложь по малограмотности. Есенина не запрещали, не изымали из библиотек и

букинистических магазинов, хотя, возможно, где-то «проявляли инициативу» особо ретивые «товарищи», горячие поклонники Демьянов Бедных и Безыменских, скрытые идейные наследники Троцкого. Они ведь не могли простить великому русскому поэту, что в пьесе «Страна негодяев» он вывел Троцкого под шутовским именем комиссар Чекистов, гражданин из Веймара, он же Лейбман из Могилёва. Не забудем и то, что читатели тех десятилетий хорошо помнили тезис Троцкого: «Что есть наша революция, как не бешеное восстание против крестьянского корня?!». Крестьянские корни были у подавляющего большинства жителей России, а первым певцом русской деревни бесспорно был Есенин. Разумеется, в Москве дела обстояли получше, чем в некоторых других городах. Лично я купил сборник Есенина в магазине, брал в библиотеке разные издания, наша учительница литературы Тамара Константиновна Кадьмова (царство ей небесное!) рассказывала нам о нём, декламировала наизусть его стихи, рекомендовала постоянно читать их и обязательно иметь в домашней библиотеке.

Ходил я не раз и на могилу Есенина на Ваганьковском кладбище – ещё на ту, старую, скромную. Собирались там поклонники поэта, в основном пожилые и средних лет мужики, явно не из литературных кругов. Читали по кругу стихи, толковали, пили водку. Мы, юнцы, стояли за их спинами. Однажды чтец сбился, и я ему подсказал. Окончив читать, он похвалил меня и налил полстакана водки. Это был мой первый «литературный гонорар».

Позднее, а точнее весной 1956 года мы с женой пошли «на Лубянку», узнавать о судьбе её отца, осуждённого по 58-й статье «на 10 лет без права переписки» (не все же знали, что этот эвфемизм означал «расстрел»). В приёмной, полной народу, стоял длинный деревянный стол, изрезанный ножами. Среди надписей выделялись есенинские строки:

*Много в России троп,  
Что ни тропа, то гроб,  
Что ни верста – то крест,  
До енисейских мест –  
Шесть тысяч один сугроб.*

Всё это я говорю к тому, чтобы молодые поняли – Сергея Есенина русский народ знал, читал и любил всегда, вопли полуграмотных литературных дамочек о запрете – ничего не стоят.

Много лет спустя, уже в горбачёвщину, водил я знакомство с ныне покойным американским дипломатом Грегори Гуровом, советологом, хорошо знавшим наш язык (газета «Правда» однажды назвала его агентом ЦРУ, но об этом, мы, естественно, никогда не говорили). Несколько лет он собирал статистику, задавая знакомым и случайным собеседникам один вопрос: «Кто первый русский поэт XX века?». Он рассказывал, что итоги его поразили: две трети опрошенных назвали Есенина, одна треть – Блока. Я заметил ему, что результат вполне ожидаемый и явно отражает реальные симпатии русских людей. На это американец сказал: вот это и вызывает моё недоумение – неужели никто не понимает, что первый – Мандельштам?!

Правда, он добавил важные в данном случае слова, говорящие о его честности: возможно, сказал он, я чего-то не понимаю, потому что никогда не бывал в русской деревне и понятия не имею о взглядах её обитателей. Из политкорректности я не высказал предположения, что, может быть, такое мнение связано с его происхождением (это был человек с еврейскими корнями). Но это всё же иностранец, а «наши» литературные дамочки (впрочем, и либеральные мужчины тоже)? Помню, например, как в литературном приложении к «Независимой газете» некто Ян Шенкман написал в связи со смертью Бродского – «Третья любовь России» (первые две – Пушкин и Блок). Есенина для безродных космополитов не существует. Много было подобных публикаций.

Да и сейчас антиесенинские вылазки продолжаются, вспомним хотя бы одиозную Ирину Петровскую. Да и не только её. Как-то в Театральном музее имени Бахрушина довелось мне слышать выступление «литературной дамочки» Нонны Голиковой, написавшей пьесу о Есенине. Удивили её слова о том, что пьесу она написала за три дня (куда там Шекспиру, Шоу или Островскому!). Но главное – она громогласно заявила, что «открыла секрет Есенина» – почему он не стал невозвращенцем, не остался в США, когда был там с Айседорой Дункан. «Оказывается», потому, что тревожился за сестёр – как, мол, они без него проживут. Да, у великого поэта в одном письме есть написанная в запале фраза о том, что в Советской стране так плохо идут дела, что не хочется и возвращаться. Но надо ничегошеньки не понимать в Есенине, чтобы допустить мысль о его отказе от России. В завершение темы скажу, что, по моему глубокому убеждению, государственного запрета на Есенина не было, но было давление антирусских сил. Было и есть, хоть и не такое явное, как в

те годы, когда космополитическая сволочь действовала вполне открыто. Когда «культур-гауляйтер» Луначарский способен был увидеть в Есенине лишь «виртуозность слов и порою всякие довольно безвкусные имажинистские выверты и дерзновения», а после убийства великого поэта выступал с докладом «Против есенинщины».

Подводя итоги, отмечу, что, вскормленные классикой, мы (я имею в виду своих ровесников-единомышленников), как мне представляется, разумно встречали появление новых авторов, а позднее – поток недоступной ранее литературы. Мы радостно приветствовали появление Николая Рубцова и Юрия Кузнецова и не обольщались силиконовыми прелестями Евтушенко и Вознесенского. Точно так же мы не визжали от восторга по поводу стихов Владимира Набокова. Я убеждён, что наше восприятие новинок совершенно нормально и правильно. И мне казалось дикостью, например, когда многие вагоны московского метро украсили рекламные извещения о том, что в России опубликован роман Патрика Зюскинда «Парфюмер»; тоже мне, сенсация, тоже мне, классик мировой литературы...

С годами я пришёл к выводу, что быстрая смена мод или, что то же самое, кумиров очень вредна для литературного процесса. За свою жизнь (которая считается долгой – но в историческом масштабе – тьфу, одно поколение) я помню восхождение и закат многих писателей. И ускорение нарастает, что связано с тем, что на искусство всё больше влияют законы рыночной экономики. Знаю, не один я слышал от знакомых издателей, с иными из которых находишься в приятельских отношениях: твоя книга мне нравится, но продавать её труднее, чем пустышку (дерьмо) (однодневку) N. или X. Шумихи вокруг твоего опуса не поднять, а вокруг их книжек – можно. Всё правильно.

Кто сейчас помнит бездарных и лживых «Детей Арбата» Анатолия Рыбакова, а ведь за ними гонялись – и не так давно. Беда ещё и в том, что толстые журналы утратили былое значение, былой авторитет. И в том, что утратили значение литературные премии, которые теперь учреждает и финансирует кто хочешь и кому хочешь присуждают победы. И, наконец, искусство Интернета, в котором заправляет иностранное закулирье, активно использующее в качестве наёмников бежавших или откочевавших из России/СССР русскоязычных ненавистников нашей страны и нашей культуры. На какие компасы ориентироваться сейчас молодому читателю?

В задачу краткого предисловия к сборнику не входит панорамная оценка современного состояния русской поэзии. Скажу только, что, на мой взгляд, оно весьма неплохое, весьма высок уровень многих, очень многих стихотворцев. Раздавать ордена и звания и выстраивать иерархию – не моё дело. Скажу только, что мне очень близки такие разные поэты и поэтессы, как Геннадий Красников, Геннадий Иванов, Елена Исаева, недавно ушедший от нас Николай Колычев, Нина Карташёва, Светлана Сырнева, Валерий Хатюшин. Особо хотел бы отметить исключительно талантливое Александра Хабарова – в частности, потому, что он в основном появляется в Сети, а не в бумажных изданиях.

А вопреки традиции назову и одного из ряда неприятных и враждебных мне сочинителей. Это Александр Кушнер. Ему всё плохо в моей стране, его раздражают даже названия растений («О, сколько диких слов, /Внушающих тоску», – пишет Кушнер). Неприятны ему и названия русских городов (Томск, Туруханск, Сургут, Салехард, Уренгой, Омск, Усть-Луга); «Даже в Пензе, в Казани/ Я обратный билет/ Проверял бы в кармане/ Петербургский поэт», – пишет он. Ненависть Кушнера к русским реалиям – принципиальна. Я думаю, национальное самосознание начинается именно с любви к ним. Вспомним, как воспевал имена московских улиц писатель-эмигрант Дон-Аминадо (к слову сказать, соплеменник Кушнера, его настоящее имя Аминодав Пейсахович Шполянский):

«...Музыки московских сочетаний на западный бемоль не переложить... Только вслушайся – навек запомнишь!Покровка. Сретенка. Пречистенка. Божедомка. Петровка. Дмитровка. Кисловка. Якиманка... Хамовники. Сыромятники. И Собачья Площадка. И ещё не всё: Швивая горка. Балчуг. Полянка. И Чистые Пруды. И Воронцово Поле... Дорогомилово... Одно слово чего стоит!.. Большой Козихинский. Малый Козихинский. Никитские Ворота. Патриаршие Пруды. Кудринская, Страстная, Красная площадь. Не география, а симфония!».

Это – сокращённый отрывок из прозы Дон-Аминадо, которую я воспринимаю как чистейшую поэзию. Ну, и у многих авторов, конечно, есть стихи на ту же тему. Первыми на память приходят незабываемые строки Сергея Маркова:

*Знаю я – малиновою ранью  
Лебеди летят над Лебедянью,  
А в Медыни золотится мёд.*



*Не скопа ли кружится в Скопине?  
А в Серпейске ржавой смерти ждёт  
Серп горбатый в дедовском овине...*

Ну, и, конечно, Виктор Боков, с которым мне довелось встречаться лично:

*О, земля моя! Ты – кафедра,  
Мне с твоих родных страниц  
Открывалась география  
Гор и рек, и русских лиц.  
В Омске, в Томске, или в Глазове,  
Или где-нибудь в Орле  
Улыбались кареглазые  
Не кому-нибудь, а мне...*

Такие слова моих старших современников я в полной мере могу отнести и к себе. Повезло мне, чего там говорить, крупно повезло. Где человеку со склонностью к стихосложению надо было жить в XX–XXI веке? Конечно, в России, не в Западной же Европе и не в США–Канаде, где поэзия в основном стала филологической игрой. А у нас, слава Богу, ещё кипят нешуточные страсти вплоть до пролития крови – настоящей, а не бутафорского клюквенного сока или – что ещё смешнее – кетчупа.

Москва